

**MICHAEL
CUNNINGHAM**

Майкл Каннингем
Снежная королева

[roman]

CoRpus

**THE
SNOW
QUEEN**

Возможно, самый оригинальный
из всех романов Каннингема.
THE NEW YORK TIMES



Майкл Каннингем

Снежная королева

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8496299

*Снежная королева : роман / Майкл Каннингем: АСТ : CORPUS; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-087297-8*

Аннотация

Герои романа “Снежная королева” – братья Баррет и Тайлер, истинные жители богемного Нью-Йорка, одинокие и ранимые, не готовые мириться с утратами, в вечном поиске смысла жизни и своего призвания. Они так и остались детьми – словно герои сказки Андерсена, они блуждают в бесконечном лабиринте, пытаются спасти себя и близких, никого не предать и не замерзнуть. Особая роль в повествовании у города, похожего одновременно на лавку старьевщика и неизведанную планету, исхоженного вдоль и поперек – и все равно полного тайн. Из места действия Нью-Йорк незаметно превращается в действующее лицо, причем едва ли не главное.

Майкл Каннингем, автор знаменитых “Часов” и “Дома на краю света”, вновь подтвердил свою славу одного из лучших американских прозаиков, блестящего наследника модернистов. Тонко чувствующий современность, Каннингем пытается уловить ее ускользающую сущность, сплетая прошлое и будущее, обыденное и мистическое в ярком миге озарения.

Содержание

Вечер	5
Ноябрь 2004	8
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Майкл Каннингем

Снежная королева

© Michael Cunningham, 2014

© Д. Карельский, перевод на русский язык, 2014

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014 © ООО «Издательство АСТ», 2014

Издательство CORPUS ®

* * *

Посвящается Билли Хау

Холодно и пустынно было в просторных чертогах Снежной королевы. Их освещало северное сияние, оно то вспыхивало ярче в небесах, то вдруг слабело. Посреди самой большой и пустынной снежной залы лежало замерзшее озеро. Лед на нем раскололся на тысячи кусков, на удивление ровных и правильных. Посреди озера, когда бывала дома, восседала на троне Снежная королева. Озеро она называла “Зеркалом Разума” и говорила, что это лучшее и единственное зеркало в мире.

Ханс Кристиан Андерсен “Снежная королева”

Вечер

Баррет Микс узрел небесный свет над Центральным парком четыре дня спустя после того, как был в очередной раз брошен. Любовь и прежде, разумеется, награждала его оплеухами, но никогда еще они не имели форму пяти строчек текста, притом что пятая состояла из убийственно формального пожелания удачи и завершалась тремя строчными иксами, типа поцелуйчиками.

Четыре дня Баррет изо всех сил старался сохранить присутствие духа перед лицом череды расставаний, которые, как виделось ему теперь, с каждым разом оказывались все немногословнее и прохладнее. Когда ему было двадцать – двадцать пять, его романы обычно завершались рыданиями и шумными ссорами, будившими соседских собак. Однажды у них с без пяти минут бывшим возлюбленным дошло до кулачной драки (у Баррета по сю пору стоит в ушах грохот опрокинутого стола и неровный стук, с каким мельничка для перца покатилась по половицам). В другой раз была громкая перебранка посреди Барроу-стрит, разбитая в сердцах бутылка (при слове “влюбиться” Баррет до сих пор с неизбежностью вспоминает осколки зеленого стекла, поблескивающие на асфальте в свете уличного фонаря) и старушечий голос – ровный и нескандальный, какой-то устало-материнский, – раздавшийся откуда-то из темноты первых этажей: “Ребятки, здесь же люди живут, и им спать хочется”.

После тридцати и дальше, ближе к сорока, расставания стали напоминать переговоры о расторжении деловых отношений. Боли и взаимных упреков хватало по-прежнему, но надрыва заметно поубавилось. Да, мол, что поделаешь – мы возлагали на совместные инвестиции большие надежды, но они, увы, не оправдались.

Этот последний разрыв, однако, был первым, о котором он узнал из эсэмэски, неожиданных и нежеланных прощальных слов, всплывших на экране размером с кусочек гостиничного мыла. *Баррет привет ты сам наверно все уже понял. Мы ведь сделали уже все что от нас зависело?*

Баррет, собственно, не понял ничего. До него, естественно, дошло – любви больше нет, как нет и подразумевавшегося ею будущего. Но вот это *ты сам наверно все уже понял...* Все равно как если бы дерматолог сказал тебе непринужденно после рутинного ежегодного осмотра: *вы, наверно, уже сами поняли, что вот эта вот родинка на щеке, это очаровательное темно-шоколадное пятнышко, которое, как многие справедливо считают, только добавляет вам привлекательности (не помню, кто это мне рассказывал, что Мария-Антуанетта рисовала себе мушку точно на том же самом месте?), так вот, эта родинка – это рак кожи.*

Ответил Баррет тоже эсэмэской. И-мейл, он решил, выглядел бы в этой ситуации слишком старомодно, а телефонный звонок – чересчур драматично. На крошечной клавиатуре он набрал: *Как-то это внезапно, может нам лучше встретиться поговорить. Я на месте, xxx.*

К концу второго дня Баррет успел отправить еще две эсэмэски и оставить два голосовых сообщения. Следующую за вторым днем ночь он боролся с желанием оставить еще одно. К вечеру третьего дня он не только не получил ответа, но и начал осознать, что ждать бессмысленно; что ладно сложенный канадец, аспирант-психолог из Колумбийского университета, с которым Баррет пять месяцев делил постель, стол и шуточные беседы, мужчина, сказавший: “Видно, все-таки я тебя люблю”, когда Баррет, сидя в одной с ним ванне, прочитал наизусть *Ave Maria* Фрэнка О’Хары, и знавший, как называются все деревья в Адирондакских горах, где они вместе провели тот уик-энд, – что этот человек пошел дальше своим путем, уже без него; что Баррет остался стоять на платформе, недоумевая, как это он умудрился не успеть на поезд.

Желаю тебе счастья и удачи в будущем. xxx. Вечером четвертого дня Баррет шел через Центральный парк, возвращаясь от дантиста, визит к которому, с одной стороны, угнетал его своей банальностью, но зато, с другой, мог сойти за проявление мужества. Избавился от меня пятью пустыми и обидно безличными строчками – ну и пожалуйста! (*Очень жаль, что у нас не получилось, но мы ведь оба сделали все, что от нас зависело.*) Не стану же я из-за тебя пренебрегать уходом за зубами. Лучше я узнаю – с радостью и облегчением узнаю, – что на данный момент в депульпации корневого канала необходимости нет.

И тем не менее мысль о том, что ему больше никогда не принесет радости чистое и беззаботное очарование этого парня, так похожего на юных, гибких и невинных атлетов с восхитительных картин Томаса Икинса; что ему никогда больше не видеть, как, перед тем как лечь, он стягивает с себя трусы, как невинно восторгается приятными пустяками вроде сборника Леонарда Коэна, который Баррет записал для него на кассету и назвал “Почему бы тебе не покончить с собой”, или победы “Нью-Йорк рейнджерс”, – мысль эта казалась ему абсолютно невозможной, противоречащей всем законам физики любви. Несовместим с ними был и тот факт, что Баррету, скорее всего, так никогда и не узнать, что же всему виной. В последний месяц или около того у них несколько раз вспыхивали перепалки, случались неловкие паузы в разговоре. Но Баррет объяснял это для себя тем, что их отношения вступают в новую фазу, видел в мелких размолвках (“Хоть иногда можно постараться не опаздывать? Почему я должен отдуваться за тебя перед своими друзьями?”) признаки крепнущей близости. Он даже отдаленно не мог вообразить, как в одно прекрасное утро обнаружит, проверив входящие эсэмэс, что любви конец и ее не жалеть, чем пару потерянных солнечных очков.

Тем вечером, когда ему было явление, Баррет, обнадеженный благополучным состоянием корневого канала и клятвенно пообещавший еще регулярнее использовать зубную нить, пересек Большую лужайку и уже подходил к залитому светом айсбергу музея “Метрополитен”. С деревьев капало, Баррет с хрустом продавливал подошвами серебристо-серый наст, срезая напрямую к станции шестой линии подземки, и радовался, что скоро окажется дома с Тайлером и Бет, радовался, что они его ждут. Все его тело онемело, словно от новокаинового укола. Голову занимала мысль, не превращается ли он к своим тридцати восьми годам из героя трагической страсти, из юродивого ради любви в менеджера среднего звена, который, провалив одну сделку (да, компания понесла некоторый урон, но отнюдь не катастрофический), принимается за подготовку следующей, возлагая на нее не меньшие, разве что чуть более реалистичные надежды. Ему больше не хотелось подниматься в контратаку, наговаривать часовые сообщения на автоответчик, подолгу выстаивать на страже у подъезда бывшего возлюбленного, притом что десять лет назад он все это непременно проделывал – Баррет Микс был стойким солдатом любви. А теперь он старел и терпел утрату за утратой. Даже сподобься он на жест ярости и страсти, то оказалось бы, что он всего лишь хочет утаить, что он банкрот, что окончательно сломлен, что... послушай, брат, мелочью не выручишь?

Баррет шагал, низко склонив голову – не от стыда, а от усталости; она как будто была слишком тяжела, чтобы нести ее прямо. На снегу перед глазами мелькала его собственная голубовато-серая тень, она скользнула по сосновой шишке и по рунической россыпи сосновых иголок, по блестящей обертке от шоколадного батончика “О, Генри!” (разве их до сих пор выпускают?), с шуршанием уносимой порывом ветра.

В какой-то момент микроландшафт у него под ногами – слишком студеной и прозаичный – утомил Баррета. Он поднял тяжелую голову, посмотрел вверх.

И увидел лучащуюся бледным, неверным светом зеленовато-голубую вуаль; она зависла на высоте звезд, или нет, все-таки пониже, но все равно высоко, выше проплывав-

шей над силуэтами деревьев светящейся точки спутника. Сияющая вуаль то ли медленно увеличивалась, то ли нет; ярче посередине, она бледнела к рвано-кружевным краям.

Баррет решил было, что видит приблудившееся северное сияние, не самое частое зрелище в Центральном парке, но, пока он стоял на протянувшейся по льду полоске света от фонаря, горожанин в пальто и шарфе, печальный и разочарованный, но в остальном вполне заурядный, пока смотрел на небесный свет, о котором, думал он, сейчас рассказывают в новостях по всем каналам, пока прикидывал, что лучше – любоваться диковинкой в одиночку или пойти остановить прохожего, чтобы удостовериться, что тот тоже видит этот свет, – вокруг были другие люди, черные силуэты, расставленные там и тут по Большой лужайке...

Он стоял так, оцепенев от неопределенности, в желтых “тимберлендах”, и вдруг понял – точно так же, как он смотрит на небесный свет, тот сверху смотрит на него.

Нет, не смотрит. *Созерцает*. Как, представилось ему, кит может созерцать пловца – со степенно-царственным и абсолютно бесстрашным любопытством.

Он чувствовал на себе внимание этого света – оно передалось ему коротким электрическим импульсом; несильный ток приятно пронизал его тело, согрел и даже как будто осветил его изнутри, отчего кожа стала светлее, чем была, – ненамного, на тон или два; она фосфоресцировала, но очень естественно, без синевато-газовых оттенков, а как если бы несомый кровью свет чуть прихлынул к коже.

А потом свет рассеялся – рассыпался в стайку бело-голубых мерцающих искр, которые казались живыми, словно это было игривое дитя флегматичного исполина. Потом и искры померкли, и небо снова стало таким, каким бывает всегда.

Баррет еще немного постоял, глядя в небо, как на экран телевизора, который внезапно погас, но еще может каким-то чудом включиться вновь. Небо, однако, демонстрировало лишь привычную свою подпорченную тьму (огни Нью-Йорка замазывают ночную черноту серым) да редкую россыпь самых ярких звезд. И Баррет двинулся дальше, домой, где в скромном уюте бушвикской¹ квартиры его ждали Бет и Тайлер.

А что еще, собственно, ему было делать?

¹ Бушвик – район в Бруклине, на границе с Квинсом. – *Здесь и далее – прим. перев.*

Ноябрь 2004

В спальне Тайлера и Бет идет снег. Снежинки – плотные студёные крупинки, а совсем не хлопья, в неверном сумраке раннего утра скорее серые, а не белые, – кружась, падают на пол и на изножье кровати. Тайлер просыпается, сон сразу же почти бесследно улетучивается – остается только ощущение тревожной, чуть нервной радости. Он открывает глаза, и в первый момент рой снежинок в комнате кажется ему продолжением сна, ледяным свидетельством небесной милости. Но потом становится ясно, что снег настоящий и что его надуло в окно, которое они с Бет оставили открытым на ночь.

Бет спит, свернувшись калачиком, у Тайлера на руке. Он бережно высвобождает из-под нее руку и встает закрыть окно. Ступая босиком по тонко заснеженному полу, идет сделать то, что следует сделать. Ему приятно сознавать собственное благоразумие. В Бет Тайлер встретил первого человека в своей жизни еще более непрактичного, чем он сам. Проснись Бет сейчас, она наверняка попросила бы не закрывать окно. Ей нравится, когда их тесная, забитая вещами спальня (стопки книг и сокровища, которые Бет все тащит и тащит в дом: лампа в виде гавайской танцовщицы, которую в принципе еще можно починить; обшарпанный кожаный чемодан; пара хлипких, тонконогих стульев) превращается в игрушку – рождественский снежный шар.

Тайлер с усилием закрывает окно. В этой квартире все какое-то неровное и перекошенное. Если на пол посреди гостиной уронить стеклянный шарик, он укатится напрямик к входной двери. В последний момент, когда Тайлер уже почти опустил оконную раму, в щель с улицы врывается отчаянный снежный заряд – словно бы спешит использовать последний шанс... Шанс на что?.. На то, чтобы оказаться в убийственном для него тепле спальни? Чтобы успеть впитать жар и растаять?

С этим последним порывом в глаз Тайлеру залетает соринка или, может быть, не соринка, а микроскопический кусочек льда, совсем крошечный, не больше самого мелкого осколка разбитого зеркала. Тайлер трет глаз, но соринка не выходит, она прочно засела у него в роговице. И вот он стоит и смотрит – одним глазом видно нормально, второй совсем затуманен слезами, – как снежная крупа бьется в стекло. Самое начало седьмого. За окном белым-бело. Слежавшиеся сугробы, которые день за днем росли по периметру парковки и походили раньше на невысокие серые горы, присыпанные тут и там блестками городской копоти, теперь сияют белизной, как на рождественской открытке; хотя нет, чтобы получилась настоящая рождественская открытка, надо особенным образом сфокусировать взгляд, удалить из поля зрения светло-шоколадную цементную стену бывшего склада напротив (на ней до сих пор потусторонней тенью проступает каллиграфически начертанное слово “цемент”, как будто это строение, так давно заброшенное людьми, напоминает им о себе, шепча выцветшим голосом свое имя) и тихую, не отошедшую еще ото сна улицу, над которой сигнальным файером моргает и жужжит неоновая буква в вывеске винного магазина. Даже мишурные декорации этого призрачного, малолюдного квартала, где из-под окон у Тайлера уже год никак не уберут остов сгоревшего “бьюика” (ржавый, выпотрошенный, расписанный граффити, он выглядит причудливо-благостно в своей абсолютной ненужности), одеваются в предрассветном сумраке лаконично-суровой красотой, дышат поколебленной, но не убитой надеждой. Да, и в Бушвике так бывает. Валит снег, густой и безукоризненно чистый, – и есть в нем что-то от божественного дара, как если бы компания, поставляющая в кварталы получше тишину и согласие, в кои-то веки ошиблась адресом.

Когда не сам выбираешь место и образ жизни, полезно уметь благодарить судьбу даже за скромные милости.

А Тайлер как раз не выбирал этот мирно обнищавший район складов и парковок, где стены зданий отделаны древним алюминиевым сайдингом, где при строительстве думали только о том, как подешевле, где мелкие предприятия и конторы едва сводят концы с концами, а присмирившие обитатели (в большинстве своем это доминиканцы, которые приложили немало сил, чтобы попасть сюда, и наверняка питали более смелые надежды, чем те, что сбываются в Бушвике) послушно тащатся на работу или с работы, самой что ни на есть грошовой, и весь их вид говорит о том, что бороться дальше бессмысленно и надо довольствоваться тем, что есть. Здешние улицы уже и не особенно опасны, время от времени когонибудь по соседству, конечно, грабят, но как будто нехотя, по инерции. Когда стоишь у окна и смотришь, как снег обметает переполненные мусорные баки (мусоровозы лишь изредка и в самые непредсказуемые моменты вспоминают, что сюда тоже стоит заглянуть) и скользит языками по растресканной мостовой, трудно не думать о том, что ждет этот снег впереди, – о том, как он станет бурой слякотью, а из нее ближе к перекресткам образуются лужи по щиколотку глубиной, где будут плавать окурки и комочки фольги от жвачки.

Надо возвращаться в постель. Еще одна сонная интерлюдия – и кто знает, может статься, что мир, в котором проснется Тайлер, окажется еще чище, будет укрыт поверх праха и тяжких трудов еще более плотным белым покрывалом.

Но ему муторно и тоскливо и не хочется в таком состоянии ложиться. Отойдя сейчас от окна, он уподобится зрителю тонкой психологической пьесы, которая не получает ни трагического, ни счастливого финала, а постепенно сходит на нет, пока со сцены не исчезнет последний актер и публика наконец не поймет, что представление окончено и пора расходиться по домам.

Тайлер обещал себе сократить дозу. Последние пару дней это у него получалось. Но сейчас, именно в эту минуту, возникла ситуация метафизической необходимости. Состояние Бет не ухудшается, но и не улучшается. Никербокер-авеню послушно застыла в нечаянном великолепии, перед тем как снова покрыться привычными грязью и лужами.

Ладно. Сегодня можно сделать себе поблажку. Потом он снова с легкостью возьмет себя в руки. А теперь ему необходимо поддержать себя – и он поддержит.

Тайлер подходит к прикроватной тумбочке, достает из нее пузырек и вдыхает из него по очереди каждой ноздрей.

Два глотка жизни – и Тайлер мигом возвращается из ночного сонного странствия, все вокруг снова обретает ясность и свой смысл. Он снова обитает в мире людей, которые соперничают и сотрудничают, имеют серьезные намерения, горят желанием, ничего не забывают, идут по жизни без страхов и сомнений.

Он снова подходит к окну. Если та принесенная ветром льдинка действительно вознамерилась срастись с его глазом, то ей это удалось – благодаря крошечному увеличительному зеркальцу он все теперь видит гораздо яснее.

Внизу перед ним все та же Никербокер-авеню, и скоро к ней вернется обычная ее городская безликость. Не то чтобы Тайлер на время об этом забыл – нет-нет, просто неминуемо грядущая серость ничего не значит, вроде того как Бет говорит, что морфий не убивает боль, а отодвигает ее в сторону, превращает в некий вставной номер шоу, необязательный, непристойный (А вот, поглядите, мальчик-змея! А вот женщина с бородой!), но оставляющий равнодушным – мы-то знаем, что это обман, дело рук гримера и реквизитора.

Боль самого Тайлера, не такая сильная, как у Бет, отступает, кокаин высушивает внутреннюю сырость, от которой искрились провода у него в мозгу. Бьющий по ушам фуз brutalная магия мгновенно переплавляет в кристальной чистоты и ясности звук. Тайлер облачается в привычное свое платье, и оно садится на нем как влитое. Зритель-одиночка, в начале двадцать первого века он стоит голышом у окна, грудь его полнится надеждой. В этот миг ему верится, что все в жизни неприятные сюрпризы (ведь он совсем не рассчитывал, что будет

к сорока трем годам безвестным музыкантом, живущим в пронизанном эротикой целомудрии с умирающей женщиной и в одной квартире с младшим братом, который мало-помалу превратился из юного волшебника в усталого немолодого фокусника, в десятитысячный раз выпускающего из цилиндра голубей) складно ложатся в некий непостижимый замысел, слишком громадный для того, чтобы его понять; что в осуществлении этого замысла сыграли свою роль все упущенные им возможности и проваленные планы, все женщины, которым самой малости не хватало до идеала, – все то, что в свое время казалось случайным, но на самом деле вело его к этому окну, к нынешней непростой, но интересной жизни, к неотвязным влюбленностям, подтянутому животу (наркотики этому способствуют) и крепкому члену (тут они не при чем), к скорому падению республиканцев, которое даст шанс народиться новому, холодному и чистому миру.

В том новорожденном мире Тайлер возьмет тряпку и уберет с пола нападавший снег – кому, кроме него, этим заняться? Его любовь к Бет и Баррету станет еще чище, еще беспримеснее. Сделает так, чтобы они ни в чем не нуждались, возьмет дополнительную смену в баре, воздаст хвалу снегу и всему тому, чего снег коснется. Он вытащит их троих из этой унылой квартиры, достучится неистойвой песнью до сердца мироздания, найдет себе нормального агента, сошьет расползшуюся ткань, не забудет замочить фасоль для кассуле, вовремя отвезет Бет на химиотерапию, начнет меньше нюхать кокс, а с дилаудидом² завяжет совсем и дочитает наконец “Красное и черное”. Он крепко сожмет в объятьях Бет и Баррета, утешит, напомним, что в жизни очень мало вещей, о которых действительно стоит беспокоиться, будет кормить их и занимать рассказами, которые шире откроют им глаза на самих себя.

Ветер переменялся, и снег за окном стал падать иначе, как если бы некая благая сила, некий громадный невидимый наблюдатель предугадал желание Тайлера мгновением раньше, чем тот понял, чего желает, и оживил картину – ровно и неспешно падавший снег вдруг вспорхнул трепещущими лентами и принялся чертить карту завихрений воздушных потоков; и тут – ты приготовился, Тайлер? – настает момент выпустить голубей, вспугнуть пять птиц с крыши винного магазина и почти сразу же (ты следишь?) развернуть их, посебранных первым светом зари, против снежных волн, набегающих с запада и несущихся к Ист-Ривер (ее беспокойные воды вот-вот пробороздят укутанные белым, словно сделанные из льда баржи); а в следующий миг – да, ты угадал – приходит время погасить фонари и выпустить из-за угла Рок-стрит грузовик с не потушенными пока фарами и гранатово-рубиновыми сигнальными огоньками, мигающими у него на плоской серебряной крыше, – само совершенство, восхитительно, спасибо.

* * *

Баррет, голый по пояс, бежит сквозь снегопад. Грудь раскраснелась, дыхание вырывается клубами пара. Спал он мало и беспокойно. А теперь вышел на пробежку. Это привычное ежеутреннее занятие успокаивает его, он приходит в себя, пока бежит по Никербокер-авеню, оставляя за собой облако собственных испарений, как паровоз, который проезжает сквозь непроснувшийся, укутанный снегом городок, хотя Бушвик бывает похож на город с положенной тому логикой устройства (тогда как в реальности представляет собой конгломерат разномастных зданий и заваленных строительным мусором пустырей без признаков деления на центр и окраины) только рано утром, пока вокруг доживает последние минуты студеная тишина. Скоро на Флашинг-авеню откроются лавки и магазинчики, заблестят автомобильные гудки и городской сумасшедший – давно не мытый пророк, светящийся безумием

² Дилаудид – наркотический анальгетик, производное морфина.

не хуже самых иступленных и преуспевших в плотской аскезе святых, – с привычной прилежностью часового займет свой пост на углу Никербокер и Рок. Но пока ничто не нарушает тишины. Улица только-только глухо выползает из сна, в котором не было сновидений, редкие машины пробираются по ней, взрезая светом фар пелену снегопада.

Снег идет с полуночи. Он все сыплет и кружит, пока день постепенно вступает в свои права и небо незаметно для глаз меняет ночной черновато-коричневый окрас на прозрачно-серый бархат раннего утра, того мимолетного промежутка времени, когда нью-йоркский небосвод кажется непорочным.

Вчера вечером небо пробудилось, открыло глаз – и увидело всего-навсего Баррета Микса, который шел себе домой в приталенном двубортном пальто ледяною равниной Центрального парка, а потом взял да и остановился. Небо взглянуло на него, отметило факт его существования и вновь смежило веки, чтобы, как подсказывало Баррету воображение, погрузиться в более сокровенные видения – пламенные сны о полете по спиральям галактики.

Страшно – а вдруг вчера ничего особого не произошло, а всего-то, как это случается время от времени, на мгновение ненароком приоткрылся небесный занавес. И считаться избранным у Баррета не больше оснований, чем у горничной – собираться замуж за старшего из хозяйских сыновей только потому, что она видела, как он голышом идет в ванную, думая, что в коридоре никого.

А еще страшно от мысли, что вчерашнее явление полно смысла, но разгадать его нет никакой возможности, хотя бы даже приблизительно. На памяти Баррета, католика, бесповоротно сбившегося с пути уже в начальных классах (рельефные брюшные мышцы и бицепсы мраморного, в серых венах-прожилках Христа над входом в школу Преображения Господня заводили его не на шутку), даже самые упертые монашки не рассказывали о божественных видениях, которые случались бы вот так ни с того ни с сего, вне всякого контекста. Видения суть ответы. А для ответа нужен вопрос.

Нет, вопросов у Баррета, как у любого другого, полно. Но не таких, чтобы беспокоить оракула или пророка. Даже будь такая возможность, разве хотел бы он, чтобы посланец-апостол, пробежав в одних носках по едва освещенному неверными вспышками коридору, побеспокоил ясновидца вопросом типа: “Почему все бойфренды Баррета Микса оказываются козлами и садистами?” Или: “Существует ли такое занятие, к которому Баррет не охладет даже через полгода?”

Если все-таки вчерашнее явление было неслучайным и небесный глаз открылся именно для Баррета – в чем заключался смысл этого благовестия? Что за путь назначил ему небесный свет, какого хотел от него поступка?

Дома Баррет спросил Тайлера, видел ли он это (Бет была в постели, ее все крепче держала на орбите растущая гравитация сумеречной зоны). Услышав в ответ от Тайлера: “Видел что?”, Баррет понял, что ему не хочется рассказывать о небесном свете. У этого нежелания имелось вполне рациональное объяснение – кому надо, чтобы старший брат держал тебя за чокнутого? Но дело скорее было в том, что Баррет ощущал необходимость хранить тайну, как если бы получил об этом молчаливый приказ.

Потом он смотрел новости.

Ничего. Рассказывали про выборы. Про то, что Арафат при смерти; что факты пыток в Гуантанамо подтвердились; что капсула с долгожданнами частицами солнечного вещества разбилась о землю, потому что не раскрылся тормозной парашют.

Но ни один из этих ведущих с квадратной челюстью не бросил проникновенный взгляд в объектив камеры со словами: *сегодня вечером взор Божий обратился на землю...*

Баррет принялся готовить ужин (Тайлер в такие дни едва ли помнит, что людям надо время от времени есть, а Бет слишком больна). Тут он даже позволил себе задуматься о том, в какой момент последний его возлюбленный стал бывшим. Может быть, во время того ноч-

ного телефонного разговора, когда Баррет, который понимал это уже тогда, слишком долго рассказывал про чокнутого покупателя, желавшего, прежде чем купить пиджак, непременно получить доказательства, что при его пошиве не пострадало ни одно животное, – ведь Баррет бывает порой занудой, да? Или все случилось тем вечером, когда он выбил с бильярдного стола биток и та лесбиянка сказала ту гадость про него своей подруге (ведь и неловко за Баррета тоже иногда бывает).

Но слишком долго раздумывать о собственных загадочных оплошностях у него не вышло. Мысли возвращались к невообразимому зрелищу, которого, судя по всему, никто, кроме него, не видел.

Он приготовил ужин. Он попытался продолжить список предполагаемых причин того, что его бросили.

А теперь, на следующее утро, он вышел на пробежку. С чего бы ему изменять привычке?

Ровно в мгновение, когда он перепрыгивает замерзшую лужу на углу Никербокер и Темз, гаснут уличные фонари. После того как ему накануне явился совсем другой свет, он ловит себя на том, что в его фантазии возникает связь между прыжком и выключением фонарей, ему представляется, что это он, Баррет, велел им выключиться, оттолкнувшись ногой от асфальта, как будто одинокий бегун на привычной трехмильной дистанции может стать зачинщиком нового дня.

Вот и вся разница между сегодня и вчера.

* * *

Тайлера так и подмывает забраться на подоконник. Нет, не чтобы покончить с собой. Ни хрена не для того. Да даже если бы он и подумывал о самоубийстве – тут же всего второй этаж. В лучшем случае сломает ногу – ну или треснется о мостовую головой и заработает сотрясение мозга. И обернется все убогой выходкой, бездарной пародией на усталовызывающее, обреченно-деликатное решение произнести: *с меня хватит*, – и ретироваться с подмостков. У него нет ни малейшего желания с ерундовым вывихом и парой ссадин распластаться в неловкой позе на тротуаре после прыжка в бездну глубиной от силы футов двадцать.

Хочется ему не покончить с собой, а погрузиться в метель, всего себя целиком подставить жалящим ударам ветра и снега. Большой недостаток этой квартиры (их у нее хватает) заключается в том, что надо выбирать: либо ты внутри и смотришь наружу в окно, либо снаружи и снизу с улицы смотришь на ее окна. А как бы прекрасно, как здорово было бы обнаженным отдаться на волю погодной стихии, полностью подчиниться ей.

В итоге его хватает лишь на то, чтобы как можно дальше высунуться из окна – и довольствоваться ударами морозного ветра в лицо и тем, как липнет к волосам снежная крупа.

* * *

После пробежки Баррет возвращается в квартиру, в ее тепло и ее ароматы: влажной древесиной сауны дышат старинные батареи отопления, особый больничный дух исходит от лекарств Бет, лакокрасочные полутона никак окончательно не улетучатся из комнат, как будто бы что-то в этой старой дыре по сию пору отказывается принять факт свершившегося ремонта, как будто само здание-призрак не хочет и не может поверить, что стены его больше не покрывает некрашенная прокопченная штукатурка, а комнаты не населены женщинами в длинных юбках, потеющими у плиты, пока мужа, вернувшись с фабрики, чертыхаются за кухонным столом в ожидании ужина. Недавно привнесенный смешанный запах краски

и врачебного кабинета тонким поверхностным слоем ложится на густой первобытный дух жареного свиного сала, пота, семени, подмышек, виски и мокрой черной гнили.

В тепле квартиры у Баррета немеет обнаженная кожа. Бегая по утрам, он погружается в холод, сживается с ним, как пловец на длинные дистанции сживается с водой, и только по возвращении домой замечает, что окоченел. Он не комета, а человек, живое существо, и поэтому ему приходится возвращаться – в квартиру, на лодку, на космический корабль, – чтобы не сгинуть в убийственной красоте, в бесконечно холодном, безвоздушном и безмолвном пространстве, в испещренной и закрученной спиралями черноте, которую он с превеликой радостью называл бы своим настоящим домом.

Ему явился свет. Явился и тут же исчез, как нежеланное воспоминание церковного детства. В пятнадцать лет Баррет превратился в непоколебимого атеиста, какой может получиться только из бывшего католика. Много десятилетий с тех пор он жил без глупостей и предрассудков, без святой крови, доставляемой бандеролью с курьером, без священников с их нудной и бесплодной жизнерадостностью.

Но вчера он видел свет. И свет видел его. И что теперь ему с этим делать?

А тем временем пора принять ванну.

По пути в ванную Баррет проходит комнату Тайлера с Бет; дверь в нее ночью распахнулась, как и все остальные двери и дверцы в этой перекошенной по всем направлениям квартиры. Баррет молча останавливается. Тайлер, голый, высунулся из окна, ему на спину и на голову падает снег.

Его фигура всегда восхищала Баррета. Они с Тайлером не очень похожи, меньше, чем ожидаешь от братьев. Баррет крупнее, не толстый (пока), но грузноватый, принц, колдовством обращенный не то в серо-рыжего волка, не то во льва, неотразимый (как ему нравилось думать) в своем чувственном лукавстве, послушно дожидаящийся в дреме первого поцелуя любви. А Тайлер – он гибкий и жилистый, очень мускулистый. Даже в покое он похож на изготовившегося к прыжку воздушного гимнаста. Его худоба декоративна, при виде его тела – тела артиста – приходит на ум определение “щегольское”. В таком теле для Тайлера естественно плевать на условности и источать приличествующую цирковому артисту дьявольщину.

Мало кто с ходу понимает, что они братья. И тем не менее между ними есть непостижимая генетическая связь. Баррет в этом уверен, но не может объяснить, в чем она заключается. О том, чем Баррет с Тайлером похожи, известно только им двоим. Они обладают неким первобытным, физиологическим знанием друг о друге. Брат понимает мотивы брата, даже когда они озадачивают посторонних. И не то чтобы они никогда не спорили и не пытались обставить друг друга – нет, дело в том, что ни один из них ни при каких условиях не может делом или словом поставить в тупик другого. Кажется, будто давным-давно, даже не заводя на эту тему разговора, они договорились скрывать на людях свою близость, а для этого пикироваться на званых обедах, соперничать за внимание окружающих, походя оскорблять и игнорировать друг друга, то есть вести себя, как ведут самые обыкновенные братья, и оберегать тем временем свой целомудренный пылкий роман, как если бы они были членами крошечной, из них двоих состоящей секты, прикинувшемися мирными обывателями в ожидании дня, когда придет время действовать.

* * *

Тайлер оборачивается, смотрит назад, в противоположную от окна сторону. Он готов поклясться: сзади кто-то только что смотрел на него, и, хотя сейчас там никого, воздух за дверным проемом еще хранит память о растаявшей в нем фигуре.

И тут слышится звук пущенной в ванну воды. Баррет вернулся с пробежки.

Почему, с какой стати появление Баррета, когда бы и откуда бы он ни возвращался, по-прежнему каждый раз становится для Тайлера событием? Ведь, в конце концов, это же только Баррет, младший брат, толстый мальчишка, который прижал к груди чемоданчик для завтрака с “Семейкой Брейди”³ на крышке и рыдает вслед уехавшему школьному автобусу; забавный увалень, которого каким-то чудом миновала участь, выпадавшая в школе всем – почти без разбору – конопатым толстякам; Баррет, бард из Харрисберга, штат Пенсильвания, который разыгрывал судебные заседания в школьном буфете; Баррет, с которым они в детстве без конца сражались за территорию и вели словесные перепалки, боролись за царственно переменчивое расположение матери; Баррет, чье тело известно ему доскональнее, чем даже тело Бет; Баррет, которого мощный и быстрый ум привел в Йель и который затем терпеливо объяснял Тайлеру – и больше никому на свете – безупречную логику своих последующих метаний: после университета он несколько лет колесил по стране (пересек в итоге двадцать семь границ между штатами), менял занятия (работал поваром в забегаловке, администратором в мотеле, подсобным рабочим на стройке), поскольку считал, что при избытке знаний ничего не умеет делать руками; был проституткой (всцело захваченный стихией романтики, слишком серьезно вознамерившийся стать современным Байроном, он счел необходимым пройти интенсивный экспресс-курс низких, животных аспектов любви); поступил в аспирантуру (*мне было полезно, да, очень полезно уяснить для себя, что невозможно погрузиться в безумную американскую ночь*⁴, *не бывая в “Бургер Кинге” в Сиэтле – там это единственное место, открытое после полуночи*) и ушел из нее (*если я ошибался относительно жизни на колесах, это же еще не означает, что я ошибаюсь, когда не хочу посвятить остаток жизни изучению вводных слов у позднего Генри Джеймса*); затеял на пару с бойфрендом-компьютерщиком скоро провалившийся интернет-проект; вместе со следующим бойфрендом открыл кафе у парка Форт-Грин, ныне вполне процветающее, но вышел из дела после того, как оставленный им любовник-компаньон бросился на Баррета с обвалочным ножом; ну и так далее...

Все эти начинания казались в свое время либо просто удачно задуманными, либо (и тогда Тайлеру они нравились больше) основанными на баснословно причудливых идеях, на той экстравагантной алогичной логике, которая горстке вдохновенных прокладывает путь к величию.

Ни одно из них, впрочем, толком никуда пути не проложило.

И теперь Баррет, домашний многострадальный Кандид, Баррет, которому, казалось, было предопределено вознестись до головокружительных высот, а если нет, то сделаться героем подлинной трагедии, – этот самый Баррет совершает самый что ни на есть прозаический поступок: теряет съемную квартиру и, даже близко не располагая суммой на аренду новой, переезжает к старшему брату.

Баррет сделал то, чего от него меньше всего ожидали, – влился в число бесприютных ньюйоркцев, когда дом, где он обустроил свою скромную хоббичью норку, стал кооперативным.

Но, как бы то ни было, Баррет остается Барретом, которым Тайлер по-прежнему восхищается – на свой манер, негромко, но преданно.

Нынешний Баррет, тот, что льет сейчас воду в ванной, – это тот же самый Баррет, что долго слыл волшебным ребенком, пока более реальным кандидатом на звание волшебного не стал третий, нерожденный ребенок. Супруги Микс из Харрисберга, похоже, рано остановились, им следовало бы родить еще одного сына вдобавок к Тайлеру с его умением сосредоточиться, грацией атлета и редкостной музыкальной одаренностью (кому дано предуга-

³ “Семейка Брейди” – американский комедийный телесериал о многодетной семье (1969–1974).

⁴ *Безумная американская ночь* – часто цитируемое выражение из романа Дж. Керуака “В дороге” (1957).

дать в самом начале, насколько велик будет твой дар?) и Баррету, который обладает массой невнятных талантов (он знает наизусть больше сотни стихотворений, без труда может прочесть достойный курс лекций по западной философии, если его вдруг об этом попросят, а прожив два месяца в Париже, практически свободно говорит по-французски), но неспособен сделать выбор и настоять на своем.

Баррет собирается принять ванну.

Тайлер дожидается, пока он закроет воду. Даже в отношениях с Барретом он придерживается некоторых формальностей. Тайлер запросто болтает с братом, когда тот лежит в ванне, но смотреть, как Баррет опускается в воду, он не может – на то у него есть веская неизъяснимая причина.

Тайлер достает из тумбочки пузырек, насыпает из него две дорожки, присаживается на край матраса и по очереди вдыхает. В этом нет ничего такого, абсолютно ничего, просто утренний заряд (да к тому же и последний, завтра утром уже ни-ни); он толкает тебя в объятия красоты, гонит прочь апатию и лень, выветривает из головы путаные остатки сна; вырывает из страны сновидений, из призрачного царства, в котором ты мешкаешь, подумывая, не уснуть ли снова, спрашиваешь себя, а зачем вообще просыпаться, ведь так славно было бы сейчас спать и спать.

Воды больше не слышно. Значит, Баррет уже залез в ванну.

Тайлер надевает вчерашние трусы-боксеры (черные, в горошек из крошечных белых черепов) и, миновав пространство коридора, открывает дверь ванной. Во всей квартире это наименее депрессивное помещение, из всех комнат только ванная за последнее столетие с лишним не подвергалась бесконечным ремонтам и переделкам. Остальные комнаты несут на себе память о множественных попытках сокрыть разрозненные фрагменты прошлого с помощью краски и дешевой отделки “под дерево”, с помощью подвесного потолка (самый чудовищный элемент здешнего интерьера – рябые, грязно-белые квадратные панели, сделанные из не пойми чего – или, как кажется Тайлеру, из лиофилизированного горя) и ковролина, который покрывает линолеум, который покрывает рассохшийся в прах сосновый дощатый пол. И только ванная сохранила более или менее первозданный вид – на полу восьмиугольная кафельная плитка, на прежнем месте умывальник-стойка и унитаз с высоко поднятым бачком, у которого сбоку свисает цепочка для слива воды. Ванная, эти покои неприкосновенной старины, осталась единственным в квартире местом, избежавшим экономных подновлений жильцами, которые надеялись оживить интерьер, полагая, что, если обклеить все кухонные столешницы пленкой с китайскими розами или неумело вырезать на притолоке слово *Suerte*⁵, им станет уютнее жить – и в этой квартире, и в большом мире снаружи; которые все до одного теперь уже либо съехали, либо мертвы.

Баррет в ванне. Ему не откажешь в умении быть комично величественным, хранить достоинство везде и всегда; царственные повадки, похоже, достались ему по наследству – такие невозможно ни воспитать в себе, ни сымитировать. В ванне Баррет не лежит, а сидит с прямой спиной и застывшим лицом, как сидят в поезде жители пригородов, возвращаясь домой с работы.

– Ты что так рано? – спрашивает он Тайлера.

Тайлер пытается вынуть сигарету из пачки, которая хранится у него в ящичке для лекарств. Из-за Бет он курит только в ванной.

– Мы вчера окно не закрыли. За ночь в спальню снега намело.

Прежде чем достать сигарету, Тайлер шлепает по пачке ладонью. Он не очень понимает, зачем все это делают (чтобы табак равномернее распределился?), но ему нравится – карающий шлепок приятно дополняет ритуал закуривания.

⁵ *Suerte* – счастье, удача (*исп.*).

– Что снилось? – спрашивает Баррет.

Тайлер зажигает сигарету и, приоткрыв окно, выпускает дым в образовавшуюся щель. Навстречу его выдоху с улицы просачивается колючая струйка морозного воздуха.

– Какая-то ветренная радость, – говорит Тайлер. – Ничего конкретного. Погода как счастье, но немножко с песком, нежеланное, в латиноамериканском, что ли, городке. А тебе что?

– Статуя с эрекцией. Крадущийся пес. Больше, боюсь, ничего.

Они молчат, похожие на ученых, записывающих умные мысли.

Потом Баррет спрашивает:

– Новости уже смотрел?

– Нет. Как-то побаиваюсь.

– В шесть он все еще опережал по голосам.

– Не выберут его, – говорит Тайлер. – Потому что, *хоть усрись, не было там никакого оружия массового поражения*. Все. Точка.

Баррет ненадолго отвлекается, отыскивая среди множества флаконов шампуня такой, где еще что-то осталось. Пауза приходится кстати. Тайлер знает, как легко выводит его из себя эта тема, как страшно она его бесит, понимает, что может любого утомить, втолковывая: вот если бы люди *видели*, если бы *понимали*...

Никакого оружия массового поражения не было. А мы их все равно бомбили.

И попутно он, между прочим, порушил экономику. Растранижил что-то около триллиона долларов.

У Тайлера в голове не укладывается чужое равнодушие к тому, что его самого буквально сводит с ума. Сейчас, когда перед ним не расстилается больше его личное снежное королевство, а кокс прогнал тупую истому непривычно раннего пробуждения, он насторожен, как кролик, и готов взвиться из-за любой ерунды.

Тайлер выпускает в законную стужу еще одну струю дыма и наблюдает, как дымные завитки растворяются в снегопаде.

– Что меня действительно беспокоит, так это прическа Керри, – говорит Баррет.

Тайлер морщится, как от резкой головной боли. Ему не хочется быть человеком, который не понимает шуток, дядюшкой, которого приходится звать в гости, несмотря на то что он всякий раз страшно заводится, когда... Любую несправедливость, предательство, историческое злодеяние Тайлер носит, как стальные доспехи, приваренные к его голому телу.

– А меня – подсчет голосов в Огайо, – говорит он.

– Все там будет в порядке, – отвечает Баррет. – Мне так кажется. Вернее, очень надеюсь.

Он, видите ли, надеется. Надежда нынче – старый выцветший шутовской колпак с колокольчиком на конце. Разве у кого-то в наши дни хватит духу его надеть? С другой стороны, кто наберется храбрости сорвать этот колпак с головы и тряпкой бросить под ноги? Уж точно не Тайлер.

– Я тоже надеюсь, – говорит он. – И надеюсь, и верю, и даже чуточку верую.

– А что с песней для Бет?

– Застопорилось слегка. Но вчера вечером я, похоже, сдвинулся с мертвой точки.

– Это хорошо. Очень хорошо.

– Тебе не кажется, что дарить ей песню... как-то маловато получается?

– Нет, конечно. А какой подарок, по-твоему, ей приятнее было бы получить на свадьбу?

Новый “блэкберри”?

– Не знаю, что у меня получится.

– Ну да, писать песни непросто. В жизни вообще почти все непросто, не находишь?

– Ты прав, – говорит Тайлер.

Баррет кивает. На несколько мгновений устанавливается тишина, которой столько же лет, сколько они помнят друг друга, тишина их взросления вдвоем, дней и ночей, прожитых

в одной комнате; их общая тишина, которая всегда была их родной стихией, хотя и нарушалась то и дело болтовней, драками, пердежом и смехом над пернувшим, стихией, в которую они неизменно возвращались, областью беззвучного кислорода, образовавшегося из смеси атомов их двух “я”.

– Маму молнией ударило на поле для гольфа, – говорит Тайлер.

– Мне, в общем-то, об этом известно.

– Бетти Фергюсон сказала на поминках, что она в тот день прошла пятипарную лунку в два удара.

– Об этом я тоже знаю.

– А Парнягу два раза сбила одна и та же машина. С разницей в год. Он оба раза выжил. А потом насмерть подавился сникерсом на Хэллоуин.

– Тайлер, прошу тебя.

– Потом мы завели нового бигля, назвали Парняга-второй. Его переехал сын той женщины, которая два раза сбивала Парнягу-первого. Он тогда в первый раз сел за руль, ему как раз шестнадцать исполнилось.

– Зачем ты все это говоришь?

– Я просто перечисляю невозможные события, которые все-таки произошли, – отвечает Тайлер.

– Такие же невозможные, как второй срок Буша.

И как то, что Бет выживет, не говорит Тайлер. Что химиотерапия поможет – этого он тоже не говорит.

– Хочется, чтобы эта чертова песня получилась.

– Получится.

– Ты прямо как мама говоришь.

– А я и есть как мама. Ты же прекрасно понимаешь, неважно, какой выйдет песня. Бет уж точно.

– Мне самому важно.

Баррет понимающе смотрит на него и делает это даже выразительнее, чем их с Тайлером отец. Особого родительского дара за их отцом не числится, но кое-что у него выходит здорово. Например, пристально взглянуть широко раскрытыми глазами, как бы говоря сыновьям: *все нормально, большего от вас сейчас и не требуется.*

Надо ему позвонить, а то уже целую неделю не звонили. А может, и две.

Почему он женился на Марве так скоро после маминой смерти? Зачем они переехали в Атланту? Что там забыли?

И что вообще произошло с этим человеком, как он мог полюбить Марву – к ней самой вопросов нет, она, если получается не пялиться на шрам, даже симпатична на свой грубоватый, “держитесь-у-меня” лад, – но отец, как он мог бросить роль покаянно-заботливого маминого спутника? Роли между ними распределялись очень понятно. Она нуждалась в заботе и вечно подвергалась какой-нибудь опасности (и молния таки настигла ее), это все явственно читалось в ее лице (фарфоровая, молочно-голубая чистота славянских, со всем возможным тщанием вылепленных черт). А отец всегда был готов сесть за руль, чуть что укладывал ее вздремнуть и сторожил ее сон, сходил с ума, стоило ей задержаться где-нибудь хотя бы на полчаса; немолодой мальчик, он был бы только рад остаток своих дней провести под дождем у ее окна.

И кем этот человек стал сейчас. Он носит шорты “Томми Багама” и сандалии “Тева”, гоняет с Марвой по Атланте в кабриолете “крайслер-империал”, выпуская сигарный дым вверх, к созвездиям в небе Джорджии.

Наверное, эта новая роль дается ему легче. И за это Тайлер на отца не в обиде.

А что обижаться – от родительских обязанностей его давным-давно избавили. И свершилось это, скорее всего, когда братья запили сразу после похорон матери.

Одному было семнадцать, другому – двадцать два. Несколько дней они болтались по дому в трусах и носках, целеустремленно истребляя запасы спиртного (от скотча и водки перешли к джину, потом к сомнительной текиле, а под конец допили четверть бутылки ликера “Тиа Мария” и “Драмбуи”, недопитого кем-то минимум лет за двадцать до того; его оставалось на два пальца от доньшка).

Дни напролет, невымытые и взъерошенные, притихшие от испуга, в одних трусах и носках, Тайлер с Барретом напивались в ставшей вдруг не-просто-так гостиной, где все давно знакомые вещи стремительно сделались *ее* вещами. Тут-то одним из вечеров и произошла (все на это указывает) та перемена...

Тебе не приходило в голову?

Что не приходило?

Они лежали в гостиной на диване, который стоял там всегда, продавленный, замызганно-кремовый, упорно превращаясь из рухляди в священную память о былом.

Сам знаешь что.

С чего ты взял, что знаю?

Не надо тут, а!

Ну да. Мне тоже иногда кажется, что отец так за нее боялся из-за всякой хрени, что...

Что накликал.

Ага, спасибо. Правильное слово.

Что какое-нибудь там божество услышало, как он вечно дрожал, как бы ее не ограбили, как бы она... не знаю... раком волос не заболела...

Услышало и устроило такое, бояться чего даже у него фантазии не хватало.

Но ведь это неправда.

Конечно.

И все равно мы оба об этом думаем.

Должно быть, тут-то они и обручились друг другу. Тут-то и дали зарок: отныне мы не просто дети одних родителей – мы напарники, мы выжили в крушении космолета и теперь вдвоем исследуем утесы и расселины неизвестной планеты, на которой, возможно, кроме нас двоих, никого больше нет. Отныне мы не хотим, чтобы у нас был отец, он нам не нужен.

И все равно позвонить ему надо бы, а то уже сколько не звонили.

– Понимаю, – говорит Баррет. – Я понимаю, что для тебя это важно. Но для нее-то нет, я думаю, тебе нужно об этом помнить.

Сероватая вода приглушает особенно насыщенные сейчас розово-белые тона его обнаженного тела.

– Хочу кофе сделать, – говорит Тайлер.

Баррет поднимается на ноги и стоит в ванне, обтекая. Крепкая коренастая мужественность сочетается в его фигуре с детской пухлостью.

Любопытно: зрелище того, как Баррет выходит из ванны, Тайлера совсем не тревожит. А вот за тем, как он в нее погружается, Тайлеру по какой-то загадочной причине наблюдать тяжело.

Может ли быть такое, что в погружении ему видится опасность? Может вполне.

Что еще любопытно: далеко не всегда важно понимать глубинные мотивы поведения другого человека, знать, откуда берутся его слабости и завиральные идеи.

– А я пойду в магазин, – говорит Баррет.

– Прямо сейчас?

– Хочется побыть одному.

– У тебя же есть здесь своя комната. Или тебе со мной под одной крышей тесно?

– Помолчи, ладно?

Тайлер протягивает Баррету полотенце.

– Я считаю, правильно, что песня будет про снег, – говорит Баррет.

– Мне сразу показалось, что это правильно.

– Разумеется. За что ни берешься, все кажется сначала правильным, крутым и жутко многообещающим... Извини, грузить не буду.

Тайлер медлит, чтобы сполна насладиться мгновением. Они пристально смотрят друг на друга – очень просто, обыденно. Нет в их взглядах ни страсти, ни драйва, ни тени неловкости, но в то же время присутствует нечто важное. Это нечто можно назвать узнаванием, и это правда, но далеко не вся. В этом узнавании Баррет с Тайлером как будто вызывают дух третьего, призрачного брата, которому не вполне удалось явиться на свет и который потому в своем призрачном бытии – и даже менее чем призрачном и менее чем бытии – служит им медиумом, добрым гением. Этот брат, этот мальчик (ему не суждено перерасти розовощекой херувимской телесности) являет собой их общее, объединенное “я”.

* * *

Баррет вытирается. Когда он вылез из ванны, вода в ней, как это бывает обычно, из прозрачной и обжигающей стала тепловато-мутной. Почему так происходит? Откуда берется муть – частицы ли это мыла или его, Баррета, частицы – наружный слой городской копоти и отмерших клеток эпидермиса, а с ними вместе (он не может от этой мысли избавиться) некоторая толика его подлинной сути, его мелочной зависти и тщеславия, самолюбования и привычки вечно жалеть себя, – смытые мылом и теперь водоворотом уходящие в сток ванны.

Он задерживает взгляд на воде. Вода как вода. Она ничуть не изменилась наутро, после того как он увидел то, чего видеть в принципе не мог.

И почему вдруг Тайлер решил сегодня с утра поговорить о матери?

Картинка из прошлого: мать курит, развалившись на диване (он здесь, у них в Бушвике, стоит в гостиной), добродушно расслабленная после нескольких бокалов “олд фэшн” (Баррету нравится, когда мать пьет, – алкоголь подчеркивает в ее облике печать глубокого и сполна осознанного поражения, ту насмешливую беспечность, которой не бывает в ней стрезва, когда с ее слишком ясным умом просто невозможно не помнить, что грандиозные разочарования хоть и несут боль, но зато наполняют жизнь чеховской печальной возвышенностью). Баррету девять. Мать улыбается ему – в глазах у нее поблескивает пьяный огонек, – как улыбалась бы, глядя на растянувшегося у ее ног ручного леопарда.

– Ты знаешь, – говорит она, – со временем тебе придется позаботиться о старшем брате.

Баррет молчит, сидя на краешке дивана у колен ее поджатых ног, и ждет, чтобы мать объяснила, что имеет в виду. Мать затягивается, прикладывает к коктейлю, еще раз затягивается.

– Потому что, мой дорогой, – наконец продолжает она, – скажем прямо... Давай с тобой начистоту. Мы же можем быть откровенными друг с другом?

Баррет согласен. Ведь это же, наверно, страшно неправильно, если мать и ее девятилетний сын не будут полностью откровенны друг с другом?

– Твой брат красавец, самый настоящий красавец, – говорит она.

– Угу.

– А ты, – затяжка, глоток коктейля, – ты совсем другой.

Баррет смаргивает слезу подкатившего страха. Ему страшно услышать, как его сейчас определят Тайлеру в услужение, назначат маленьким толстым шутом, веселым полезным

подручным старшего брата, мастера одной стрелой завалить вепря и, вполсилы ударив топором, расколоть ствол векового дерева.

– В тебе есть свое очарование, – говорит она. – Откуда оно взялось, понятия не имею. Но я знала. Сразу знала, что оно у тебя будет. Как только ты родился.

Баррет усердно моргает, чтобы не расплакаться, но ему все любопытнее и любопытнее, о чем же это она.

– С Тайлером все хотят дружить. Тайлер красивый... да. У него получается бросить мяч... закинуть его далеко-далеко и ровно туда, куда надо закидывать мяч.

– Я знаю, – говорит Баррет.

Что за странное недовольство отразилось на материнском лице? Почему она смотрит на Баррета так, как если бы поймала его на том, что он, желая угодить рамолитичной тетушке, с притворной жадностью ловит каждое ее слово, хотя история, которую рассказывает тетушка, давно знакома ему в мельчайших деталях?

– Кого боги хотят погубить... – Мать выпускает струйку табачного дыма в гущу стеклянных подвесок под куполком люстры, и та звенит, как перевернутая вниз головой тиара. Баррет не понимает: то ли ей лень закончить строчку, то ли она забыла, что там дальше⁶.

– Тайлер хороший мальчик, – говорит Баррет сам не зная зачем, только потому, что ему кажется, что нельзя молчать.

– Именно это я и хочу сказать. – Мать смотрит вверх и будто бы обращается не к Баррету, а к люстре.

Скоро все до поры непонятное сложится во внятную картину. Граненые стекляшки люстры, каждая размером с кусок рафинада, потревоженные дуновением электрического вентилятора, выстреливают короткими спазмами света.

– Тебе, наверно, надо будет его поддержать. Нет, не сейчас, потом. Нынче-то у него все в ажуре, он прямо кум королю.

Кум королю. Это что, большая заслуга?

– Что я хотела тебе сказать, – продолжает она. – Ты вот запомни, о чем мы с тобой сейчас говорим. Надолго... навсегда запомни: потом, в будущем, твоему брату надо будет помочь. Ему может понадобится помощь, про какую ты пока и знать-то не можешь... в свои-то десять лет.

– Мама, мне девять, – напоминает ей Баррет.

И вот теперь, без малого тридцать лет спустя, вполне себе дожив до будущего, о котором когда-то говорила мать, Баррет вытаскивает затычку из стока ванны. Вода начинает убывать со знакомым сосущим звуком. На дворе утро. Самое что ни на есть заурядное, если не считать...

То видение стало первым сколько-нибудь заметным событием за бог знает сколько лет, о котором Баррет не рассказал Тайлеру и о котором продолжает молчать. С самого детства у него не бывало от Тайлера секретов.

Но и ничего подобного вчерашнему с ним тоже никогда не случилось.

Нет, он все Тайлеру расскажет, но не прямо сейчас, а немного погодя. Меньше всего на свете Баррету хочется наткнуться на скепсис со стороны брата и еще меньше – смотреть, как героически Тайлер пытается ему поверить. Не хватало еще, чтобы Тайлер и за него волноваться начал, будто мало ему одной Бет, которой не становится ни лучше, ни хуже.

Страшно подумать: иногда Баррету хочется, чтобы Бет уже или умерла, или выздоровела.

⁶ Мать Баррета и Тайлера цитирует слова Прометея из драматической поэмы Лонгфелло “Маска Пандоры” (1875). Продолжение строчки: “...того они лишают разума”.

Бывает, ему кажется, что уж лучше оплакать, чем томиться ожиданием и неопределенностью (на той неделе лейкоциты выросли, и это хорошо, но опухоли в печени не увеличиваются и не уменьшаются, и это плохо).

А еще вдруг выясняется: положиться-то не на кого. У Бет одновременно пять докторов, ни один над другими не начальник, и часто их показания сильно расходятся. Нет, они неплохие врачи (за исключением Страшилы Стива, химиотерапевта), они стараются, добросовестно пробуют сначала то, а затем это... Но вся жуть в том, что Баррет – и Тайлер тоже, и наверняка Бет, хотя он с ней об этом не разговаривал, – что все они рассчитывали на милосердного порфиринозного воина, который будет сама уверенность. Баррет не ожидал, что дело придется иметь с вольными ополченцами – пугающе молодыми, если на считать Большой Бетти, – которые виртуозно владеют медицинским наречием, лихо сыплют семисложными словами (забывая – или просто не желая помнить, – что слов этих никто, кроме врачей, не понимает и не знает), которые на “ты” с самым современным оборудованием, но – всего-то навсего! – не понимают, что надо делать и что будет дальше.

Все-таки лучше пока о небесном свете помолчать – без откровений Баррета Тайлер сейчас прекрасно обойдется.

Разумеется, Баррет почитал в интернете про все мыслимые медицинские причины (отслоение сетчатки, рак мозга, эпилепсию, психотические расстройства), которые объясняли бы его видение, – и не нашел ни одной подходящей.

Хотя он пережил нечто в высшей степени необычное (что, как он надеется, не было предвестием смертельного заболевания, о котором ничего не сообщается в интернете), он не получил указаний, не воспринял ни вести, ни заповеди и наутро остался ровно тем же, кем был накануне вечером.

Но вопрос: кем же он был вчера? Вдруг в нем действительно произошла какая-то едва пока уловимая перемена – или он просто стал внимательнее относиться к частностям нынешнего своего бытия? Ответить на это трудно.

А тем временем ответ, будь он найден, помог бы объяснить, как так вышло, что у них с Тайлером настолько бестолково складывается жизнь – и это у них, некогда национальных стипендиатов (ну, собственно, стипендиатом был Баррет, Тайлер чуть-чуть недотянул), президентов студенческих клубов и королей студенческих балов (коронован был Тайлер, но тем не менее); помог бы объяснить, как так вышло, что заявившись в образе влюбленной парочки на скучнейшую на свете тусу, они повстречали там Лиз; что потом они втроем свалили оттуда и на полночи зависли в замызганном ирландском пабе; что Лиз вскорости познакомила их с Бет, недавно приехавшей из Чикаго, – с Бет, которая и близко не была похожа ни на одну из предыдущих Тайлеровых пассий и в которую он влюбился жадно и стремительно, как накидывается на естественную для него пищу зверь, много лет протомившийся в клетке на зоосадной кормежке.

В этой череде событий не было ничего похожего на предопределенность. Они развивались последовательно, но совсем не целенаправленно. Можно пойти вместо одной тусовки на другую, там повстречать знакомого, который познакомит тебя с человеком, который под конец того же вечера трахнет тебя в подъезде на Десятой авеню, или угостит первой в твоей жизни дорожкой, или ни с того ни с сего скажет невероятно добрые слова, а потом, договорившись созвониться, вы расстанетесь навеки; а можно в результате столь же случайного течения обстоятельств встретить того, кто навсегда переменит твою жизнь.

Ноябрьский вторник. Баррет вернулся с утренней пробежки, принял ванну и теперь отправляется на работу. И дальше сегодня он будет делать то же, что делает каждый день. Будет продавать тряпки (наплыва покупателей ждать не приходится, в такую-то погоду). Продолжит бегать и сидеть на низкоуглеводной диете – пути к сердцу Эндрю спорт и диета

ему не проложат, зато, есть шанс, помогут почувствовать себя более собранным и трагичным, не совсем уж похожим на барсука, одурело влюбленного в юного красавца-льва.

Увидит ли он снова тот небесный свет? А что если не увидит? Тогда к старости он, скорее всего, превратится в сказочника, однажды увидавшего нечто необъяснимое вроде НЛЮ или снежного человека, в чудака, который пережил краткое необычайное видение, а потом продолжил потихоньку стареть и влился в широкие ряды психов и ясновидящих, тех, что точно знает, что они увидели, – а если вы, молодой человек, не верите, дело ваше, быть может, в один прекрасный день и вам явится то, что вы не сумеете объяснить, тогда и поговорим.

* * *

Бет что-то ищет.

Незадача в том, что она не очень помнит что. Она это за собой знает: рассеянная, не положила на место... Но что именно она не туда положила? Что-то очень важное, что обязательно надо найти, потому что... Ну да, потому что, когда откроется пропажа, отвечать придется ей.

Она ищет по всему дому, хотя и не уверена, что та штука (какая та?) где-то здесь. Но ей кажется, что поискать стоит. Потому что она прежде уже бывала в этом доме. Она припоминает, узнает его, как узнает другие дома своего детства. Дом, в котором она сейчас, множится в череду домов, где она жила, пока не уехала в колледж. Вот обои в серую и белую полоску из дома в Эванстоне, вот застекленные двери из Уиннетки⁷ (те, возможно, были пошире?), лепной карниз из другого дома в Уиннетке (а вот эта прореха в гипсовых листьях, в которую за тобой словно бы кто-то наблюдает мудрым изумленным взглядом, была такая в том доме?).

Времени мало, скоро кто-то вернется. Кто-то строгий. Но чем старательнее Бет ищет, тем хуже понимает, что потеряла. Что-то маленькое? Круглое? Такое маленькое, что и не видно? Да, очень похоже. Но это не означает, что можно не искать.

Она девочка из сказки, ей велено к утру превратить снег в золото.

Она не может этого сделать, разумеется, не может, но все равно снег повсюду, он сыплется с потока, по углам посверкивают снежные наносы. Она помнит, как ей снилось, что надо сделать золото из снега, а она вместо этого мечется в поисках по дому...

Она смотрит себе под ноги. Пол припорошен снегом, но ей видно, что она стоит на люке – он сливается с досками пола, и выдают его присутствие только пара латунных петель и латунная ручка размером не больше шарика жвачки.

Мать дает ей пенни, чтобы она купила себе шарик жвачки в автомате у входа в магазин “Эй энд пи”. Бет не знает, как сказать, что один из шариков отравлен и что не надо поэтому кидать монету в щель автомата, но матери так хочется порадовать дочь, что той просто некуда деваться.

Она стоит на люке в тротуаре у входа в “Эй энд пи”. Там тоже идет снег.

Мать подталкивает ее бросить пенни в щель. Снизу, из-под люка, до Бет доносится смех. Она знает: там, под люком, хохочет смертельная опасность, клубится сгусток зла. Люк начинает медленно приоткрываться... Или ей это кажется?

Она замерла с пенни в руке. “Кидай же”, – говорит мать. И тут до нее доходит, что эту монетку она и искала. И случайно нашла.

⁷ Эванстон и Уиннетка – северные буржуазные, преимущественно белые пригороды Чикаго; Уиннетка традиционно входит в двадцатку населенных пунктов США с самым состоятельным населением.

* * *

Тайлер сидит на кухне, попивает кофе и дописывает куплет. Он по-прежнему в трусах, но сверху надел йельскую фуфайку Баррета – бульдожья морда на ней совсем выцвела, из красной стала карамельно-розовой. Кухонный стол Бет притащила с улицы, в углу столешницы сверхпрочный пластик отслоился и отлетел, обнажив проплешину в форме штата Айдахо. Во времена, когда стол был новым, люди собирались строить города на дне океана, думали, что живут на пороге праведного и восторженного мира из металла, стекла и бесшумной, прорезиненной скорости.

С тех пор мир стал старше. Иногда даже кажется, что он сильно постарел.

Джорджа Буша не переизберут. Невозможно же, чтобы Джорджа Буша переизбрали.

Тайлер гонит от себя навязчивую мысль. Глупо на нее тратить этот звонкий утренний час. К тому же надо закончить песню.

Гитару он не берет, чтобы не разбудить Бет, и тихо нашептывает а капелла написанные вечером стихи:

Войти в ночи в промерзшие чертоги,
Там отыскать тебя на троне изо льда
И наконец-то растопить осколок в сердце...
Но нет, не для того я долго шел сюда,
Нет-нет, не для того так долго шел сюда.

М-да, лажа какая-то. Дело в том...

Дело в том, что он твердо решил, что в песне не будет слащавой нежности, но и спокойной отстраненности не будет тоже. Какой должна быть песня для умирающей невесты? Как без смертельной мрачности рассказать о любви и смерти (настоящих, а не открыточных типа пока-смерть-не-разлучит-нас)?

Такая песня должна быть серьезной. Или, наоборот, предельно легкомысленной.

Мелодия помогает найти слова. Вот бы и на сей раз помогла. Но нет, сейчас слова важнее. Когда покажется, что найдены правильные (или не совсем неправильные), он положит их... Положит на наивную, совсем простую и чистую мелодию, но так, чтобы она не звучала по-детски – не по-детски, но с детской непосредственностью, ученической откровенностью приемов. В мажорном ключе – с одним-единственным минорным аккордом, в самом конце, когда романтически возвышенный текст, до тех пор контрастировавший с бодрой мелодией, приходит наконец в мимолетную скорбную гармонию с музыкой. Песня должна быть более или менее в духе Дилана, в духе “Велвет андерграунд”. Но никак не *под* Дилана и не *под* Лу Рида. Надо написать вещь оригинальную (разумеется, *оригинальную*; но лучше – *какую мы еще не слышали*; а еще лучше – *с признаками гениальности*), но при этом неплохо бы остаться в рамках, выдержать стилистику... Как Дилан, отбросить всякую сентиментальность, как Лу Рид, совместить страсть с иронией.

Мелодия должна... должна излучать искренность, и чтобы без единой нотки самолюбования, типа, *быстро зацени, какой я крутой гитарист*. Потому что эта песня – голый крик о любви, это мольба, смешанная... с чем? со злостью? Да, все-таки со злостью – со злостью философа, злостью поэта, злостью на то, что мир преходящ, что его умопомрачительная красота извечно наталкивается на неизбежность гибели и конца, на то, что, показывая чудеса и сокровища мироздания, нам непрерывно напоминают: сокровища эти не ваши, они принадлежат султану, и вам еще страшно повезло (предполагается, что мы должны почитать это за удачу) получить дозволение их лицезреть.

И еще тоже: песня должна быть проникнута... нет, не банальной надеждой, а, скорее, твердой верой в то, что пылкая привязанность – если только такое вообще возможно у людей, а песня будет утверждать, что да, возможно, – не оставит невесту в загробном странствии и пребудет с нею вовек. Должна выйти песня мужа, который считает себя таким же верным ее спутником в смерти, каким был в жизни, хотя и вынужден до времени оставаться в живых.

Что ж, удачного воплощения.

Он наливает себе еще кофе и выводит последнюю, теперь уж точно последнюю строчку. А вдруг он еще... не проснулся достаточно для того, чтобы его дар заговорил в полную силу. А вдруг в один прекрасный день – и почему бы этому прекрасному дню не быть сегодняшним? – он наконец стряхнет всегдашнюю дрему.

А может, заменить “осколок” на “занозу”? *И наконец-то растворить занозу в сердце?*
Нет, сейчас лучше.

А этот повтор в конце – находка? или дешевка? И не слишком ли сентиментально звучит в стихах слово “сердце”?

Надо, чтобы понятно было: слова принадлежат человеку, который не желает избавляться от засевшего в груди остря, настолько свыкся с ним, что полюбил причиняемую острием боль.

Войти в ночи в промерзшие чертоги,
Там отыскать тебя на троне изо льда...

Чем черт не шутит – при свете дня эти строчки вполне могут звучать лучше, чем сейчас, ранним утром.

И все же: если Тайлер что-то собой представляет, если он твердо настроен написать настоящую вещь, откуда в нем столько сомнений? Разве не должен он ощущать... направляющую руку?

Ну и что с того, что ему сорок три и он поет в баре?

Нет, он никогда не возьмется за ум. Это песнь горького старения. В сердце у него забит костыль (вот еще один возможный синоним), и он не может и не хочет от него отречься. Он постоянно чувствует его присутствие и без него не был бы самим собой. Никто и никогда не советовал ему, получившему диплом по политологии, заняться написанием песен и проматывать скромное материнское состояние, брэнча на гитаре в еще более скромных залах. Это его секрет Полишинеля, его “я” внутри “я” – уверенность в собственной виртуозности, умении проникать в суть вещей, которая пока никак себя не проявила. Он все еще только на подходе, и его бесит, что все вокруг (все поголовно, кроме Бет и Баррета) видят в нем неудачника, немолодого уже музыканта из бара (нет, лучше сказать, немолодого бармена, которому хозяин заведения позволяет петь свои песни пятничными и субботними вечерами), тогда как сам он знает (твердо знает), сколь многое в нем таится, сколь многое он обещает миру, не то чтобы прямо гениального, но все новые мелодии и стихи медленно и непрерывно наполняют его, великие песни витают над головой, и в какие-то мгновения кажется, что еще чуть-чуть – и он поймает одну из них, буквально выхватит из воздуха, и он старается изо всех сил, о, как же он старается, но то, что ему удастся поймать, никогда не оправдывает ожиданий.

Ошибся. Попробуй еще раз. Ошибся лучше⁸. Так, да?

Тайлер напевает первые две строчки, тихо, себе под нос. Он ждет от них... чего-то такого. Волшебного, загадочного точно и... хорошего.

Войти в ночи в промерзшие чертоги,

⁸ Цитата из новеллы С. Беккета *Worstward Ho* (1983).

Там отыскать тебя на троне изо льда...

Он тихонько напевает, сидя на кухне, где приглушенно пахнет газом, где на бледно-голубые (в свое время, должно быть, выкрашенные аквамарином) стены приклеены фотографии Берроуза, Боуи, Дилана и (дело рук Бет) Фолкнера и Фланнери О'Коннор. Как же хочется ему написать для Бет красивую песню, спеть на свадьбе – и так, чтобы получилось сказать именно то, что хотелось, чтобы это был настоящий подарок, а не очередная почти что удача, неплохая попытка; чтобы это была песня, которая захватывает и пронзает, нежная, но играющая гранями, твердая, как алмаз...

Что ж, попробуем еще раз.

Он опять начинает петь, а за стенкой спит Бет.

Он тихо поет своей возлюбленной, своей будущей невесте, своей умирающей девушке – девушке, которой предназначена эта песня и, вполне может быть, вообще все песни на свете. Он поет, и тем временем становится светлее.

* * *

Баррет одет. Зауженные (слишком узкие? – и пусть, надо же внушить окружающим, что ты красавец) шерстяные брюки, футболка с группой “Клэш” (заношенная до бесцветной прозрачности), нарочито растянутый свитер, мягко свисающий почти до колен.

Вот он, после ванны, причесанный с гелем, готовый к началу дня. Вот его отражение в зеркале на стене его комнаты, вот комната, в которой он обитает: в японском духе, из обстановки только матрас и низкий столик, стены и пол выкрашены белой краской. Это личное убежище Баррета, окруженное со всех сторон музеем хлама, в который превратили свою квартиру Тайлер и Бет.

Он берет телефон. Лиз еще наверняка не включила свой, но ей надо дать знать, что сегодня магазин откроет он.

“Привет, это Лиз, оставьте ваше сообщение”. Ему до сих пор иногда странно бывает слышать напористый, урезанный по частотам голос в отрыве от ее подвижной и очень неординарной физиономии под спутанной копной седых волос (она, по ее словам, из тех женщин, которым удается быть красивыми без оглядки на других – но удается это, надо понимать, лишь обладательницам внушительного горбатого носа и большого рта с тонкими губами).

Баррет сообщает ее голосовой почте (или *на* нее):

“Привет, я сегодня буду пораньше, так что вы там с Эндрю, если хотите еще потискаться, вперед. Можете не торопиться, я открою. Да к тому же вряд ли сегодня будет много народу. Пока”.

Эндрю. Самое идеальное создание среди близких знакомых Баррета, грациозный и загадочный, как фигура с фриза Парфенона, единственный его опыт соприкосновения с красотой высшего порядка. Если Баррет когда-либо раньше ощущал божественное присутствие в своей жизни, то только благодаря Эндрю.

В голове у Баррета назойливой мухой вьется озарение: а не потому ли так легко ушел от него последний бойфренд, что почуял, как важен для него Эндрю, о котором он ни разу – ни разу! – бойфренду не обмолвился? Может ли такое быть, что возлюбленному показалось, будто он служит Баррету лишь заменой, лишь достигаемым воплощением органичной, непринужденной красоты Эндрю, того самого Эндрю, который до сих пор служил Баррету и, возможно, всегда будет служить самым убедительным доказательством гениальности божественного замысла и заодно – необъяснимой Его (Ее?) тяги время от времени вкладывать в работу над очередным куском глины несравненно больше тщания, заботы о симметрии и деталях, чем выпадает большинству одушевленных творений?

Нет. Скорее всего, ничего такого не было. Тот парень, если честно, не отличался тонкостью интуиции, да и в том, как Баррет почитает Эндрю, нет ни намек на какое-то развитие. Баррет восхищается Эндрю, как другие восхищаются Фидиевым Аполлоном. Никто же не станет жить надеждой, что мраморная статуя сойдет с пьедестала и заключит его в объятия. И никто не бросает любовников за страсть к искусству, ведь так?

Одно дело заворуженно любоваться луной, устремляться душой к волшебному хрустальному городу по ту сторону океана. И совсем другое – требовать от любовника, от того, с кем делишь постель, кто не убирает за собой использованные бумажные платки и может выпить с утра последний кофе в доме, чтобы он заменил тебе и луну, и волшебный город.

С другой стороны, если все-таки любовник бросил Баррета из-за молчаливого преклонения перед юношей, с которым и мысли не было... Это неким странным образом было бы даже приятно. Баррета бы устроила версия, что его бывший оказался параноиком, а то и вовсе психом.

По пути к прихожей Баррет опять останавливается у открытой двери в спальню Тайлера и Бет. Она спит. А Тайлер, видать, засел на кухне с кофе. Баррету спокойнее от мысли – не ему одному, всем спокойнее, – что Тайлер тормознул с наркотиками.

Баррет медлит некоторое время, глядя на спящую Бет. Она вся исхудавшая, с кожей цвета слоновой кости, похожа на принцессу, которая уже много десятилетий лежит в летаргическом сне, дожидаясь, пока кто-то снимет с нее заклятие. Станным образом во сне меньше заметно, что она больна, – когда Бет бодрствует, в каждой сказанной ею фразе, в каждой мысли и каждом движении бросается в глаза борьба с телесной немощью.

А может быть, вчерашнее знамение относилось к Бет? Не связан ли момент, выбранный безмерным надчеловеческим разумом для явления Баррету, с тем, что Бет все меньше времени проводит бодрствуя и все больше – во сне?

Или все-таки видение было вызвано тем, что на кору его головного мозга давит маленький комочек клеток? Каково ему будет этак через год услышать от врача приемного покоя, что, обратись он вовремя, опухоль можно было победить?

К врачу он не пойдет. Вот если бы имелся у него постоянный доктор (воображение рисовало ему шведку шестидесяти с небольшим лет, строгую, но не слишком фанатичную, любительницу добродушно, полушутя поворчать над скромным букетом его не самых здоровых жизненных пристрастий), он бы позвонил доктору. Но, поскольку у Баррета нет даже страховки и его обычно пользуют, практикуясь, будущие врачи, для него невысказанно обратиться в клинику, где какой-то незнакомец начнет его расспрашивать о психическом здоровье. Если он и способен кому-то рассказать о небесном свете, то только тому, кто уже знает его как человека в целом вмняемого.

И что, он лучше будет рисковать жизнью, чем поставит себя в дурацкое положение? Похоже, что да.

Бесшумно ступая (он все еще в носках, потому что, по странному обычаю, в этой не блестящей чистотой квартире обувь принято оставлять в прихожей), Баррет входит в спальню, замирает у кровати и слушает, как Бет дышит во сне.

Он слышит запах Бет – аромат лавандового мыла, которым они все трое пользуются, смешанный с *женским* (только такое определение и приходит ему в голову) запахом чисто помытых мест, становящимся почему-то сильнее во сне; запах ее неотделим теперь от пудрено-травяного лекарственного духа, страннейшей смеси из аптечной стерильности и прямой горечи ромашки, которую, должно быть, испокон века собирали по болотам и топким пустошам, а поверх накладывается еще один запах, больничный, – в сознании у Баррета он связан с электричеством, с чем-то неосознаваемым и невидимым, бегущим по проводам, спрятанным в стенах комнаты, где кто-то умирает.

Он склоняется к лицу Бет, вполне красивому и в то же время больше чем красивому. Красота предполагает толику банального сходства с неким эталоном, а Бет не похожа ни на кого, только на саму себя. Она чуть слышно дышит, приоткрыв рот, пухлые губы потрескались; аккуратно приплюснутая переносица и маленькие ноздри явно достались ей от азиатских предков; веки голубовато-белые с густыми черными бровями; лысый после химиотерапии череп безжизненного, чуть розоватого цвета.

Она хороша, но не ослепительна, у нее куча достоинств – милых, но невыдающихся. Она хорошо печет. Умеет одеваться. Умна, много и жадно читает. Добра почти ко всем, кого ни встретит.

Мог же небесный свет явиться Баррету в преддверии ее конца, чтобы напомнить, что жизнь не заканчивается со смертью плоти?

Или это все его, Баррета, мессианские фантазии? А вдруг из-за этого-то и ушел любовник? Не из-за одержимости ли Баррета знаменами?

Баррет склоняется ниже, так близко к губам Бет, что чувствует на щеке ее дыхание. Она жива. Прямо сейчас – жива. Она явно видит сон, у нее подергиваются веки.

Ему представляется, что даже у последней черты сны у нее воздушные, светлые и жизнерадостные – в них к ней не подкрадывается незримый ужас, никто не испускает предсмертных воплей, безобидные на вид головы не являют внезапно черные провалы глазниц и оскаленные острые зубы. Он надеется, что так оно все и есть.

Мгновение спустя Баррет резко выпрямляется, как если бы кто-то позвал его по имени. И почти отшатывается, ошарашенный сознанием того, как рано уходит Бет и как мало людей почувствуют ее отсутствие. Простая и понятная мысль, но сейчас особенно пронзительная. Трагичнее это или наоборот – явиться так ненадолго в это мир и так незаметно его покинуть, почти ничего ему не дав, ничего не изменив?

Непрощеная мысль: главное свершение Бет в том, что она любит Тайлера и любима им. Бет любят многие, но Тайлер боготворит ее, восхищается ею, не видит в целом мире никого и близко равного ей.

Баррет питает к ней все те же чувства, но лишь как бы вслед за Тайлером. Выходит, Бет горячо любят двое – основной мужчина и запасной. В каком-то смысле она дважды замужем.

Что же будет делать Тайлер, когда ее не станет? Баррет обожает Бет, и она его (насколько он знает) тоже обожает в ответ, но повседневный уход и забота лежат целиком на Тайлере. Как он станет обходиться без Бет и без той осмысленности, какую она изо дня в день привносит в его жизнь на протяжении последних двух лет? Забота о Бет – его главное занятие, основная работа. Он играет на гитаре и сочиняет песни только в свободное от этой работы время.

Но так или иначе (Баррет понял это совсем недавно), как бы Тайлер ни сострадал Бет, как бы ни печалился, в нем давно не было такой удовлетворенности, какая появилась с началом ее болезни. Тайлер бы ни за что в этом не признался даже самому себе, но ходить за Бет – утешать ее, кормить, следить, чтобы она не пропускала приема лекарств, спорить с ее врачами – значило для него найти свое место. Наконец-то он может что-то делать, и делать хорошо, пока музыка ведет свое дразнящее существование где-то поблизости, но вне пределов досягаемости. А неизбежность грядущего поражения, видимо, не только внушает ему ужас, но и приносит покой. Редко кто становится по-настоящему великим музыкантом. Никто не может проникнуть в тело любимого и изгнать оттуда рак. Но одно принято считать обидным поражением, а другое нет.

Баррет нежно кладет ладонь Бет на лоб, хотя еще мгновение назад делать этого не собирался. Рука как бы действует по собственной воле, а ему остается просто за ней наблюдать. Бет что-то бормочет во сне, но не просыпается.

Баррет изо всех сил старается передать ей через ладонь некоторое подобие целительной энергии. Потом выходит из комнаты больной и направляется на кухню, где уже сварился кофе, куда гамельнским крысоловом манит его какое ни на есть буйство жизни; где Тайлер, поклонник и обожатель, сидит в одних трусах, свирепо наморщив лоб и вытянув тонкие, по-спортивному жилистые ноги, и как может готовится к своей скорой свадьбе.

* * *

Странная затея эта их свадьба, – говорит Лиз, обращаясь к Эндрю.

Они стоят на крыше, вокруг валит снег. Невероятное зрелище снегопада и привело их на крышу после стремительно пролетевшей ночи (боже мой, Эндрю, уже четыре; Эндрю, с ума сойти, половина шестого, надо хоть немножко поспать). Сексом они не занимались, их обоих для этого слишком вставило, но за ночь несколько раз случались моменты, когда Лиз казалась, будто она может все-все-все про себя объяснить, может предъявить себя на раскрытых ладонях и сказать – вот она я, вся на виду, все хитрые замочки отперты, дверцы отворены, потайные ящики выдвинуты, двойные донца вскрыты, вот мои честь и благородство, мои страхи и больные места, вымышленные и настоящие, вот так вот я вижу, думаю и ощущаю, так я страдаю, так надеюсь, так строю фразы; а вот... вот вся моя суть, осязаемая, но незакосневшая, беспокойно ворочающаяся под телесным покровом, та моя неназванная и неназываемая сердцевина, которая просто *есть*, которой удивительно, неприятно и странно быть женщиной по имени Лиз, жительницей Бруклина и владелицей магазина; это та я, которую и встретит Бог, после того как с нее спадет плоть.

И вправду, зачем при этом секс?

Сейчас она успокаивается, воссоединяется (испытывая одновременно сожаление и признательность) со своим более приземленным “я” – оно все еще пышет светом и теплом, но уже опутано тонкими прочными путами, умеет быть мелочным и раздражительным, недоверчивым и без повода тревожным. Она больше не парит в небесах, не простирает над ночными лесами свой усыпанный звездами плащ; волшебное зелье еще не успело выветриться у нее из крови, но больше не мешает быть женщиной, которая в снегопад стоит на крыше рядом с молодым, страшно молодым любовником, которая свыклась с обыденным миром и запросто может сказать – *странная затея эта их свадьба*.

– Да, – говорит Эндрю. – Тебе так кажется?

Он сверхъестественно красив на фоне снежной зари, кожа светится белизной, как у святых Джотто, стриженная рыжая голова припорошена снегом. Лиз на миг охватывает радостное изумление – мальчику интересно, что она думает. Она знает, скоро они расстанутся, по-другому просто не может быть, учитывая, что ему всего двадцать восемь. Пятидесятидвухлетняя Лиз Комптон – только эпизод в его жизни, которая вся впереди. С этим ничего не поделаешь, и главное сейчас, что он рядом, с остекленевшими с ночи глазами кутается в одеяло с ее кровати, фарфорово-бледный в рассветных лучах, пока не чей-то еще, а ее.

– Нет, я все отлично понимаю, – говорит она. – Но, по-моему, они б не стали затеваться со свадьбой, если бы она... если была бы здорова. И боюсь, не почувствует ли она себя в дурацком положении. А то это как больного ребенка в Диснейленд везти.

Слишком ты цинична, Лиз. Слишком резка. Не торопись расставаться с ночью, разговаривай с мальчиком на языке искренней благожелательности, на каком он сам говорит.

– Нет, это понятно. Но ты знаешь, если бы я тяжело заболел, я бы, наверно не возражал. Не был бы против, чтобы мне так доказали свою любовь.

– Только непонятно, делает это Тайлер скорее для себя или скорее для Бет.

Эндрю смотрит на нее обкуренным взглядом ясных и непонимающих глаз.

Она слишком много болтает? Или, может, его утомило пиршество длившихся всю ночь разговоров? Так недолго из редкого сокровища превратиться в тетку, которая не умеет вовремя замолчать.

Узы плоти снова берут свое. Возвращаются сомнения и мелкие поводы для самоистязания, осточертевшие, но настолько привычные, что с ними как-то даже спокойней.

– Я вообще их не очень знаю, – говорит Эндрю.

Ему не хочется продолжать разговор. Она утомила его. Но и Лиз еще не готова выпустить из рук обтрепанные края славной ночи, расстаться с верой в то, что ничего непонятного не бывает.

– Пошли внутрь, – говорит она.

Здесь, в утреннем снегопаде, Лиз лишается чего-то ей очень дорогого, как если бы ветер выдувал из нее размах и запал, оставляя лишь камешки скепсиса, аккуратные четки для счета обид.

– Нет, подожди минутку, – говорит Эндрю. – Я думаю...

Она ждет. Он напряженно соображает. Завернутый в одеяло, присыпанный снежными искрами, стоит и решает, что же он такое думает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.